



Я был тогда еще, наверно, семилетним. Жили мы на даче под Москвой, в деревне под названием Барвиха, километров около двадцати от Поклонной горы, откуда...

Москвы с извиными Видны-реки, с золотыми куполами сорока-сороков, с легендарными садами, вроде черемушкинских, Антонова из которых радовалась москвичке чуть ли не до Великого поста. Был прекрасный виден Храм Христа Спасителя — властитель столичной урбанистики, затмевающий отсюда, с Поклонной горы, даже его Превосходительство Кремль. Я прекрасно помню мое счастье, когда мне разрешили ехать на дачу не поездом с остальными родственниками, а на лодочной тележке — полке, с сиденьем нашего хозяина Колея. Помню, как мы остановились на самом гребне Поклонной горы, изрядно поднимающей Можайский тракт, что берет начало с Дорогомиловской заставы...

Наконец, моя голова возвысилась над самой верхней доской. Вершины деревьев оказались на уровне моих глаз, птицы летали со мной наравне, до блеклого утреннего неба, казалось, рукой подать! Остался самый трудный номер — перекинуть одну ногу и усесться на верхнюю доску. Раз, и все! Но вот сделать этот "раз" было невозможно. Почему? Почему-то! Было страшно. Я чувствовал, что порывы ветра срывают меня с доски, что пальцы от напряжения немеют, становятся нечувствительными, что какая-то опилка засорила глаза, и слезы, осыпая на ветру, щекохочут, стекая, мою щеку.

— Ты где? — раздался невеселый дедов голос. — Только бы не попасться ему на глаза! Я точно знал, что ослит ми эта невеселость. Ужас охватил меня! Где искать спасения? И вдруг мне словно что-то подбросило вверх и, сам того не заметив, я оказался верхом на доске. Истинная правда — я не понял, как это случилось. И вот, много-много лет спустя я шел по Дмитровскому шоссе в глазную клинику. То ли задумался, то ли отвлекся, но так или иначе, не обратил внимания, как переключился светфор, и застывшая орава огромных грузовиков с прицепами сорвалась с места. Скрипя и воячая, чуть ли не цараяла бока друг другу, рывком набрав большую скорость, они устремились вперед. И я увидел, нет, скорее почувствовал эту мчащуюся на меня грохочущую смерть. Оказавшись между машинами, меня бы стерло в порошок. Но перебраться на ту сторону я тоже не мог, все эти чудовища неслись куда быстрее меня. Господи! — мелькнуло у меня в голове, — Господи! — Что было потом, я не проследил сознанием своим, но яственно помню, что ощутил толчок, словно меня подхватило мягкое, широкое, во всю спину крыло и выкинуло на островок для пешеходов между светофорами. И в тот же миг меня шибанул в затылок удар смертельно ветра от пронесшегося мимо грузовика, он сбил бы меня, если бы не... Я тогда не понял, что именно произошло, как до конца не понимаю и теперь, когда уже почти вся жизнь прожита.

В 60-е годы я сочинил либретто "Мистерия апостола Павла", и мы консультировались с покойным отцом Александром Мемем, с которым я хорошо познакомился в те дни. Скажите, Александр Владимирович, — спросил я его, рассказав примерно то, что сейчас написал. — Что же случилось со мной? — Это был ваш духовный опыт, — серьезно ответил он и улыбнулся. Я поначалу решил, что отец Александр шутит, ведь ему, умному, современному человеку, было весьма свойственно чувство юмора, но потом вспомнил ту давнюю Барвиху, когда я вдруг непонятно как оказался на дощатой тверди между небом и землей, и это понимание вошло в мир моих представлений о жизни, как некая данность. Я и поныне твердо считаю его своим приобретенным богатством. И мне известно, что я не один, кого отец Александр, вроде бы походя, одаривал сложным знанием. Я сидел наверху стожаных для просушки досок, вцепившись в края верхней доски побелевшими пальцами. Порывы ветра не стихали, обдавая меня холодом высоты. В

каленки вписались большие занозы, ранки кровоточили, но у меня все не доставало решимости оторвать руки от доски и попытаться вытащить их. Да, надо сказать, что в детстве был на удивление легок весом. Я не весил пуда, и домашние прозвали меня "фунтиком". Я был очень гибок и даже мог пролезать сквозь крокетную дужку — проволочные воротаца, сквозь которые надо было прокатывать деревянные шары деревянными же длинноручными молотками. Это была классическая по тому времени дачная игра. Крокет был чуть ли не в каждой даче. Так вот мне пришлось в голову, что если я такой легкий, то не расшпирюсь, если ветер подхватит меня и утащит, как листик, куда-нибудь, на огород. Но, скованный страхом, я продолжал сидеть на воздухе, и перебрал возможности спуска вниз. Выхода не было. Без помощи не обойтись. А главное, как миновать деда? Я чувствовал, что он голодный волком бродит поблизости в поисках добычи. Мне стало ясно, что и рассчитывать можно только на чудо, и я принялся ждать чуда.

И тут какие-то мягкие удары, словно кто-то выбивал подушку, вписались в свист ветра. Я поглядел вниз. С моей верхотуры была видна почти вся дача, покрытая этой замечательной барвихинской пылью. Но вдоль забора с моей стороны росла бузина — густые кусты, должно быть, что-то тайное видеть, что там так невятно стучит. Я замер в ожидании. И вдруг! Вдруг из-за куста появилась лошадиная голова! Нет, не лошадиная, унылая, качающаяся вверх-вниз, потряхивающаяся гривой, замученная жизнью рабская голова крестьянской лошади, а словно бы отлитая из благородного металла изрядный скульптором, голова полномочного представителя лошадиного племени на этой земле, голова Его Превосходительства Коя, гордая, сосредоточенная на плановом движении, не зыркающая по сторонам от праздной любительства, а полностью отдающаяся некоей миссии, значения которой я даже предвидеть не сумел. Это было на редкость возвышенное явление коня народу! Восторг и непонимание охватили меня — я ведь и ждал чего-то неведомого, нежданного, необычного. У меня даже, помню, по рту пересохло от охватившего жара. И вот! Из-за такого прозаичного бузинного куста выплыл, явился, появился, одарив меня праздником зрелища, весь красавец конь, черной, словно вороново крыло, масти. Он был взнуздан и под седлом. А в седле, упираясь золотыми сапожками в золотые стремена, сидела чудная, превосходная, удивительная, изумительной прелести девочка и помахиwała стеклом — короткой палочкой с ременной петелькой на конце. Девочка была в желтом платье, в желтой жемчужной шапочке, из-под которой выбивались золотые, шевелящиеся на ветру локоны. В отличие от коня золотая девочка с любовью возвышенно зыркала по сторонам и, надо же, увидела меня, сидевшего на верхней доске штабеля и вцепившегося в нее, словно рак клешней.

— Эй, что ты там делаешь? — крикнула она звонким голосом. И, поскольку я не отреагировал, прокричала еще громче: — Ты что, глухой? И вместо ликования, что я замечен, восторга, что мой подвиг оценен, что я, сидящий наверху с остекленевшими глазами и руками, потерявшими гибкость, не вызываю у нее издевательского смеха, меня охватило странное предчувствие, что здесь моего субтильного естества на высоту птичьего лета был лишь предвкусием ее появления, ее вторжения в мою жизнь. И даже делово: "Где ты, негодий? Ответчай! Ты же все мо далюко уйти, выходил... Ну, погоди, сукин ты сын!" перестало меня удерживать. Он должно быть как теперь говорят, завелся с пол-оборота и заляпал овалом во гневе, что моя мать — его дочь, которой он очень гордился, к слову сказать. С меня, видно, сошел седьмой пот, но не умирать же здесь. И разом напряженное тело ослабло, суставы разогнулись, и в портретьево пальцы снова начала втекать жизнь. Но вот рот не оживал. И хоть хрипелое дыхание вырывалось из губ, ничего чернораздельного я издать не мог. Зато я изгнотворился спускаться вниз. Спрыгнуть было немислимо, эту возможность я отменил сразу. Значит, надо было как-то сплезать. "Как влез, так и сплезу!" — заколдовал себя. — "влез и сплезу!" Вдруг ноги мои как-то сами собой соскользнули и начали, извиваясь по-змеиному, судорожно нащупывать опору, хоть какую-нибудь, лишь бы твер-

дый голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянувшись до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел. — Что ты ему дала? — спросила я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести. — Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед. — Он сказал? — Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Эй, ты! — раздался тихий голос. — Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу "Ап!", отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирую в пуд поднимам.

— А я еще не вашу пуда, я — фунтик", — подумал я, а может быть и сказал громко. Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сортясь.

— Эй, — заорал я во всю глотку, мой голос прорезался. — Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли? — Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! Ап!

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели. — Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все! Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как криюки в доску вписались, и никак. — Ну и что будет? — Не знаю. — Вот что. Слушать можешь? — Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепляйся? — Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь? — Отцеплюсь-юс, — пропелтал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал опавшие руки, потрескивание к моим пяткам, словно гусеница прошивыгнула и защекокала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополумел? — закричала она. — Тпру, Волик! Тпру, ступ, милый! Ну вот, ейн клеосе пферд, гутес пферд, хорший конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. — Я встану на цыпочки, а ты опusti ноги и уприсись мне в ладошки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытанул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыбайся! — Не-е-е, — снова заблеял я. — Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепляйся. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертвым сцеплением с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад. — Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она. Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло. Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня. — Ну, вот, — раздался ее вполне серьез-

ный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянувшись до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел. — Что ты ему дала? — спросила я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести. — Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед. — Он сказал? — Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Эй, ты! — раздался тихий голос. — Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу "Ап!", отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирую в пуд поднимам.

— А я еще не вашу пуда, я — фунтик", — подумал я, а может быть и сказал громко. Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сортясь.

— Эй, — заорал я во всю глотку, мой голос прорезался. — Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли? — Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! Ап!

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели. — Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все! Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как криюки в доску вписались, и никак. — Ну и что будет? — Не знаю. — Вот что. Слушать можешь? — Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепляйся? — Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь? — Отцеплюсь-юс, — пропелтал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал опавшие руки, потрескивание к моим пяткам, словно гусеница прошивыгнула и защекокала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополумел? — закричала она. — Тпру, Волик! Тпру, ступ, милый! Ну вот, ейн клеосе пферд, гутес пферд, хорший конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. — Я встану на цыпочки, а ты опusti ноги и уприсись мне в ладошки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытанул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыбайся! — Не-е-е, — снова заблеял я. — Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепляйся. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертвым сцеплением с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад. — Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она. Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло. Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня. — Ну, вот, — раздался ее вполне серьез-

ный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянувшись до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел. — Что ты ему дала? — спросила я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести. — Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед. — Он сказал? — Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Эй, ты! — раздался тихий голос. — Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу "Ап!", отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирую в пуд поднимам.

— А я еще не вашу пуда, я — фунтик", — подумал я, а может быть и сказал громко. Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сортясь.

— Эй, — заорал я во всю глотку, мой голос прорезался. — Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли? — Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! Ап!

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели. — Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все! Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как криюки в доску вписались, и никак. — Ну и что будет? — Не знаю. — Вот что. Слушать можешь? — Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепляйся? — Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь? — Отцеплюсь-юс, — пропелтал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал опавшие руки, потрескивание к моим пяткам, словно гусеница прошивыгнула и защекокала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополумел? — закричала она. — Тпру, Волик! Тпру, ступ, милый! Ну вот, ейн клеосе пферд, гутес пферд, хорший конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. — Я встану на цыпочки, а ты опusti ноги и уприсись мне в ладошки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытанул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыбайся! — Не-е-е, — снова заблеял я. — Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепляйся. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертвым сцеплением с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад. — Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она. Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло. Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня. — Ну, вот, — раздался ее вполне серьез-

ный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянувшись до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел. — Что ты ему дала? — спросила я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести. — Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед. — Он сказал? — Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Эй, ты! — раздался тихий голос. — Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу "Ап!", отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирую в пуд поднимам.

— А я еще не вашу пуда, я — фунтик", — подумал я, а может быть и сказал громко. Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сортясь.

— Эй, — заорал я во всю глотку, мой голос прорезался. — Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли? — Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! Ап!

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели. — Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все! Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как криюки в доску вписались, и никак. — Ну и что будет? — Не знаю. — Вот что. Слушать можешь? — Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепляйся? — Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь? — Отцеплюсь-юс, — пропелтал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал опавшие руки, потрескивание к моим пяткам, словно гусеница прошивыгнула и защекокала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополумел? — закричала она. — Тпру, Волик! Тпру, ступ, милый! Ну вот, ейн клеосе пферд, гутес пферд, хорший конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. — Я встану на цыпочки, а ты опusti ноги и уприсись мне в ладошки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытанул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыбайся! — Не-е-е, — снова заблеял я. — Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепляйся. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертвым сцеплением с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад. — Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она. Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло. Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня. — Ну, вот, — раздался ее вполне серьез-

ный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянувшись до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел. — Что ты ему дала? — спросила я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести. — Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед. — Он сказал? — Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Эй, ты! — раздался тихий голос. — Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу "Ап!", отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирую в пуд поднимам.

— А я еще не вашу пуда, я — фунтик", — подумал я, а может быть и сказал громко. Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сортясь.

— Эй, — заорал я во всю глотку, мой голос прорезался. — Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли? — Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! Ап!

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели. — Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все! Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как криюки в доску вписались, и никак. — Ну и что будет? — Не знаю. — Вот что. Слушать можешь? — Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепляйся? — Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь? — Отцеплюсь-юс, — пропелтал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал опавшие руки, потрескивание к моим пяткам, словно гусеница прошивыгнула и защекокала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополумел? — закричала она. — Тпру, Волик! Тпру, ступ, милый! Ну вот, ейн клеосе пферд, гутес пферд, хорший конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. — Я встану на цыпочки, а ты опusti ноги и уприсись мне в ладошки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытанул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыбайся! — Не-е-е, — снова заблеял я. — Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепляйся. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертвым сцеплением с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад. — Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она. Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло. Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня. — Ну, вот, — раздался ее вполне серьез-

ный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. — А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах? Я склонил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки. — Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен! Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржання, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне. — Он ведь тоже волновался, — сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке.

ехать на дачу не поездом с остальными ребятами, а на лодке — полке, с сынком нашего хозяина Колей. Помню, как мы остановились на самом гребне Поклонной горы, изрядно поднимающей Можайский тракт, что берет начало с Дорогомилловской заставы, — он захват перед подъемом двумя кладбищами: Русским, на котором была похоронена моя няня, Аграфена Владимировна Карапузова, уроженка Лопасни, что по соседству с Серпуховым, где имел удовольствие родиться я, и Еврейский кладбищем, где лежали и дед мой, и бабка, и дядя Яша, какой-то крупный начальник в ВСНХ, что на площадке Иогин. "Крупный" потому, что за ним по будним дням проезжала казенная пролетка и увозила его в присутствие, а по вечерам, по окончании службы, возвращалась назад в несгоревший в пожар московский двухэтажный дом на углу Манежной улицы и въезда в Боровицкий ворота Кремля. Из окон теткиной квартиры я много лет краду наблюдал за возвращающимися с первомайских и октябрьских парадов войсками, оглушался громышными оркестров и ксилофонным цокотом копыт Красной кавалерии, про которую, как известно, какие-то "былинники ведут рассказ". Я видел у проходивших мимо окон демонстрантов огромную фигу, сделанную из пальев-наших, и написанные на ней крупные слова: "Наш ответ Чемберлену", я видел, как сжигали гигантские фигуры какиков врагов народа и как они факелами пылали, грязная облака клубами черного дыма под улюлюканье толпы.

Да, трудно начать историю из тех времен, все время сбиваясь в сторону. Итак, я ехал на подводе с дачными вещами в Барвиху, тогда облюбованную разбогачившимися в нэповское время, как и ныне, энергичными людьми. Потом, когда их переставали, Барвиха, как знак состоятельности, передавалась из рук к рукам тем, кто этим занком должен был обладать. Непьющие чиновники, чиновники — деловиками, деловики — Медуправлению Кремля. А теперь Медуправление свою вотчину никому не передавало, а чуть потеснились да и областная милиция не преследует поселившихся без особого права. Теперь там, в округе, строят свои еще не знакомые Подмосковью коттеджи из заграничных кирпичей в два-три, а то и четыре этажа те, которых называют нынче "новые русские". Это, как правило, мускулистые молодые люди, выглядывающие "как надо", прикнутые "как надо", умеющие по-английски, разъезжающие на своих "Вольво" и "Мерседесах" и имеющие, как говаривал мой украинский приятель, "все самое хорошее". Ну вот, опять занесло не туда.

Остановились мы на самом гребне Поклонной горы. Это Коля специально придержал лошадей, чтобы я на Москву поглядывал, как Наполеон, когда пришел ее брать. И я поглядывал. День был светлый, купола сверкали, словно изнутри в них горели огни. Я четко вспоминаю мое тогдашнее ощущение от перламутрово-переливчатого великолепие безалаберно сплвшихся деревьев, будто уползающих с окраины к Храму Христа, да малость недоползших и сгрудившихся вокруг него, и новых роскошных дождевых домов, построенных в начале века. Это я сейчас старательно подбираю слова, вспоминая ощущение более чем полувековой давности, а тогда я, помню, просто замер и ввертел головой, как в зоологическом саду, чтобы не пропустить ничего.

Когда мы приехали, наша компания уже сидела на скамейке возле клумбы.

— Ну, слава тебе, Господи! — сказала няня, когда мы вошли в садик перед терраской.

— Ты Москву видела? — спросил я ее солидно.

— Не-е-е, — протянула няня.

— А видел?

— И чего же ты видел? — спросила она язвительно.

— Все! — отрезал я, обидевшись.

Семен ЛУНГИН Как я стал взрослеть

то выбивал подушку, вцепился в свист ветра. Я поглядывал вниз. С моей ветрухоты была видна почти вся дорога, покрытая этой замечательной барвихинской пылью. Но вдоль забора с моей стороны росла бузина — густые кусты, должно быть, что-то тайное видать, что там так невнятно стучит. Я замер в ожидании.

И вдруг! Вдруг из-за куста появилась лошадина голова! Нет, не лошадиная, унылая, качающаяся вверх-вниз, потряхивающая головой крестьянской лошади, а словно бы отлитая из благородного металла изрядным скульптором, голова полномочного представителя лошадиного племени на этой земле, голова Его Превосходительства Кояга, гордая, сосредоточенная на плане моих движений, не зыркающая по сторонам от праздного любопытства, а полностью отдающаяся некоей миссии, значения которой я разгадать не сумел. Это было на редкость возвышенное явление коня народу! Восторг и непонимание охватили меня — я встал и ждал чего-то невероятного, невиданного, небывалого. У меня даже, помню, во рту пересохло от охватившего жара.

И вот! Из-за такого прозаичного бузинового куста выплыл, появился, всясь красавец конь, черной, словно вороново крыло, масти. Он был взнуздан и под седлом. А в седле, упираясь золотыми сапожками в золотые стремяна, сидела чудная, прехвосходная, удивительная, изумительная прелестница, удивительная, изумительная прелестница, и помахивала стеклом — короткой палочкой с ремешком петелькой на конце. Девочка была в желтом платье, в желтой жакеточке шапочке, из-под которой выбивались золотые, шевелящиеся на ветру локоны. В отличие от коня золотая девочка с любопытством зыркала по сторонам и, надо же, увидела меня, сидевшего на вершней доске штабеля и вцепившегося в нее, словно рак клешней.

— Ты что ты там делаешь? — крикнула она звонким голосом. И, поскольку я не ответил, прокричала еще громче: — Ты что, глухой?

И вместо ликования, что я заменен, восторга, что мой подвиг оценен, что я, сидящий наверху с остекленными глазами и руками, потерявшими гибкость, не вызываю у нее издевательского смеха, меня охватило странное предчувствие, что взлет моего сублинного естества на высоту птичьего лета был лишь предвещанием ее появления, ее вторжения в мою жизнь. И даже дедово: "Где ты, негодяй? Отвечай! Ты же не мог далеко уйти, выходи!.. Ну, погоди, сукни ты сын!" — перестало меня उत्рашать. Он, должно быть, как теперь говорят, завелся с пол-оборота и запаятовал во гневе, что моя мать — его дочь, которой он очень гордится, к слову сказать.

С меня, видно, сошел седьмой пот, но не умирать же здесь. И разом напряженное тело ослабло, суставы разошлись, и в помертвевшие пальцы снова начала втекать на дощатой тверди между небом и землей, и это понимание вошло в мир моих представлений о жизни, как некая данность. Я и поныне твердо считаю его своим приобретенным богатством. И мне известно, что я не один, кого отец Александр, вроде бы походивший таким знанием.

Я сидел наверху сложенных для просушки досок, вцепившись в края верхней доски побелевшими пальцами. Порывы ветра не стихали, обдавая меня холодом высоты. В

да-то издадека. Из няниного огорода, что ли?

— Ахтунг! — скомандовала золотая девочка. — Внимание! А!

Я никак не мог отступить доску. Пальцы снова одеревенели.

— Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куржа нет? Прыгай и все! Волки стоят и ждают тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

— Не могу-у, — проблеял я. — Они как кройки в доску впились, и никак.

— Ну и что будет?

— Не знаю.

— Ага-а.

— Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Ты-фу! — а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь — не хочешь, отцепляйся. Отцепишься?

— Ага-а-а.

— Ты другого слова не знаешь?

— Отцеплю-юсь... — прошептал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытнула вперед руки, потому что я почувствовал слабенское прикосновение к моим пяткам, словно гуслица прошиглая и защекотала. Я дернул ногу — до сих пор не выношу щекотки.

— Ты что, ополоумел? — закричала она. — Тпру, Волки! Тпру, стой, милый! Ну вот, ейн клюгес пферд, гутес пферд, хорошии конь, прямо прелесть, какой Эй, ты! — это было не по-немецки, значит, обращено ко мне.

Я встану на цыпочки, а ты опусти ноги и улпирись мне в ладошки, Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытнул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое. Я долго потом ощущал это прикосновение.

— Теперь, — сказала девочка, переводя дыхание, — я чуть приподниму тебя, а ты не колыхайся...

— Не-е-е, — снова заблеял я.

— Молчать! — сказала она грозно. — Чуть-чуть, понял! А ты тани вверх руки и отцепишься. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбку опору, почувствовал, что я вроде бы полпыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть мертво сцепленными с ней. Я потерял бдительность и слегка откучился назад.

— Ты что, горбуном захотел стать! — завизжала она.

Я замер, ощущая, что сколько вдоль нее, что ее руки обвивают меня, колыцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были те золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шельку ее платья, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора. Это было седло. Незыблующее твердое кожаное седло.

Воздушно путешествие, что я проделал, словно во сне от изумления и страха, скорей всего окончилось. Яность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг нежданно-негаданно заплакал. Да еще как! Прижимаюсь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня.

— Ну, вот, — раздался во вполне серьез-

но, это была моя первая слова, которые я, уже спавший, смог произнести.

— Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед.

— Он сказал?

— Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

— Ты где, скотина? — отозвался дед отку-

— У тебя есть няня? — Мне что-то стало обидно, и я перевел разговор.

— Есть.

— И у меня есть. А как тебя зовут?

— У меня много имен. Дома — Елочка, во дворе — Ела. На работе — Иоланта.

— Ух ты! На какой работе?

— В цирке. Я — Труцци.

— Ну да! И что ты делаешь?

— Мы работаем с Воликом. Волтижик. Это что?

— Ну, всякие номера. В седле. На рыси.

Она вскочила на ноги в седле, натянула повод над моей головой, подняла стег. Волик послушно вздрогнул и пустился небесно-трой рысью, выбрасывая передние ноги. А она — я этого не видел, потому что не решился обернуться назад, но чувствовал, — она стала позади меня на руки и переку вырнулась вперед, так что я оказался у нее между колениками. И дух захватил у меня от восторга и какой-то телесной радости.

— А тебя как зовут? — спросила она, отстраняясь от моей спины.

— Сима.

— Это женское имя, у нас костюмерша Сима.

— Мужское имя тоже. — Мне нередко приходилось отвечать на этот вопрос. У меня есть знакомый мальчик, которого зовут Мура, а еще я знаю одного по имени Люся, только он уже взрослый. Потом есть Эля, потом Викта. Да мало ли!

— Поняно, — сказала она, помолчав.

Мы уже доехали до опушки леса по дорожке, ведущей на станцию Раздоры. Справа, за соснами, проглядывала коричневый деревянный женский монастырь.

— И кто ты? Кто ты сказала? Вы из Турции?

— Нет, мы — Труцци. Это наша фамилия.

— А-а-а.

— Вот тебе и "а": да мы все, и папочка, и мама, и брат мой — мы все из цирка. Мы Труцци! Слушай, а ты правда меньше пуда?

— Конечно, правда. Меня взвешивали в Москве перед отъездом. Чуть-чуть не хватало.

— Честное благородное слово?

— Честное.

— Это, конечно, хорошо. Легко работать с таким весом.

— Чо работать?

— Чо хочешь, хоть прыжки, хоть темповые, хоть силовые?

— Какие силовые?

— Ну, стойку жать в седле, или махнуть прыжком в седло. Схватиться кистью за луку и с манежа в седло — раз! Поняно?

Наверно, выражение моего лица было краюрчейвой слов.

— Оттолкнуться двумя ногами, почувствовать ритм коня и — раз!

Ладно, — сказал я. — А за какой лук надо хвататься?

— Правду твоей дед говорит, болван и ести!

— Ну за что ты меня? Не знаю я, и все! За что надо хвататься?

— Если бы ты сидел передо мной не как мешок с опилками, я бы тебе показала. Лук, — она рассмееялась уже миролюбиво, — это вот перед седла.

— Да, характер у нее, наверно, тот еще, — подумал я, — с таким опасо связываться".

— Ну? — спросил я.

— Дуги гну, — ответила она, — вот, гляди.

— С кем это?

— С кем хочешь, хоть с Воликом.

— С лошадыю? — я вдруг представил себе такой поцелуй и был очень огорчен ее признанием.

— А что? Знаешь, какой у него нос бархатный-бархатный? Прямо между ноздрями и чмок!

— Не поверю! — у меня по отношению к ней вдруг стало возникать какое-то ревнивое чувство, комплекс какой-то, как те-

да эта девочка знает, как летают стрелы? что она, видела, да?

— Да ты что? Стрелу можно даже не видеть, а знать. И все!

— И вовсе не все.

— А кроме того, я могу пролезать сквозь крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. — Болтушка она.

— Ну и не вру! Спорим, что не вру.

— А на что?

— На что хочешь. Хоть на американку.

— Давай! Только без поцелуев.

— Я вообще не терплю целоваться, — сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплываться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюны.

— А я очень люблю и всегда целуюсь. А крокетную дужку. — Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

— Ну и врешь! — она от прости даже запыלתла, до того возненавидела ту девочку